

Шмуэль Йосеф Агнон
(К шестидесятилетию писателя¹)

Агнон – народный писатель, ибо он мастер создавать народный язык и стиль, которыми, однако, описывает отнюдь не фольклорные картины и ситуации, зачастую богатые сложнейшими и глубокими психологическими хитросплетениями. По форме его рассказы подобны народным историям, которые отличает знание жизни и присущий старикам взглядом на мир. Но каким бы народным Агнон не был, простонародная вульгарность ему бесконечно чужда. Его проза духовна, однако не претендует на роль проповеди, как, скажем, у И.Л. Переца. Он просто пишет истории. Так рассказывают наши народные сказители, так они уснащают свою речь поучениями мудрецов и древними загадками, и оттого невозможно назвать Агнона подражателем, стилизатором, ибо он совершенно самобытен, хоть и обильно черпает из родников раввинской и хасидской словесности. Он проложил в литературе собственный путь, и потому его творчество стоит особняком, оградившись от чужих влияний. Агнон всегда верен себе. У него единый стиль, который проявляется в том, как ведется повествование, и в том, что витает там между строк. Есть у этого стиля что-то от безмятежности старцев, от их мудрой снисходительности и приправленного юмором приятия жизни. Речь рассказчика течет неторопливо, изобилует деталями, которые, на первый взгляд, вроде не к месту, однако из этой избыточности и нескольких лаконичных, сделанных вскользь замечаний исподволь вырисовывается суть дела, и оторваться от книги уже невозможно.

Но не только юмор мудрости встречаем у Агнона. Есть у него и гротеск. Правда, его гротеск далек от грубого зубоскальства, желания подвергнуть остракизму за странности и недостатки. Его гротеск органичен, он исходит из общего благодушия, и потому уколы его не обижают и почти безболезненны, ведь никто из людей не совершенен. В этом Агнон близок к Гоголю, их сближает известное сходство. Да, они пишут о разных мирах, но обоим свойственна влюбленность в народный уклад, в жизнь и повадки простого человека, сына своего народа, места, почвы. Еврея Агнона и русского писателя Гоголя отличают тонкой лиризм и тяга к мистике, к легендам и преданиям. Гротескные картины у Агнона можно встретить в рассказах об обитателях Шибуша, он же Бучач². Агнон живописует лавочников, маклеров, ешиботников и тех, кто мнит себя идущим в ногу со временем, так называемых *маскилим*, которые на деле приобщились пока лишь к малым крупицам просвещения. Агнон посмеивается над мнимыми сионистами, от скуки увлекшимися новомодной идеей, над «женами добродетельными» из галицийской провинции, над общей всегдашней готовностью горожан выпить и закусить. И среди всей этой земной суеты – очарованные души, мечтательные, дорогие сердцу писателя, словно спустившиеся сюда из иного мира. Этим как бы нездешним персонажам отведено в творчестве писателя особое место: они будто явились искупить застой местечковой жизни, привнося в нее сияние благородного отшельничества. Они принадлежат *агаде*, народному сказанию, и это тоже свойство прозы Агнона, где *агада* составляет важнейший пласт. В *агаде* уместны и витиеватость, и лукавство, и многочисленные отступления, и пафос. Благодаря неподражаемому стилю, даже рассказы о нашем

¹ Опубликовано в газете *Аль а-мишмар*, 20.08.1948.

² Город в Восточной Галиции (ныне Западная Украина), родина Агнона.

времени у Агнона дистанцируются и обретают новую перспективу: от них веет романтизмом и преданиями.

И еще один важный аспект произведений Агнона: он не копается в психологических тонкостях души, не следит за опасными вывертами человеческого духа, как то присуще современным авторам, хотя у многих его персонажей дух витает над бездной. У Агнона движения души эксплицируются в описании внешних деталей, как если бы рассказчик, подобно пишущему красками художнику, вызвался изобразить лишь свет и тени, нюансы и образы, какие предлагает жизнь. Под этим наложением словесных красок проступает душа и внутренняя суть вещей.

Агنون, как я упомянул выше, облачил все описываемые им события в особую форму выражения. Все, о чем он пишет, обоснованно и крепко сбито, ибо все скреплено абсолютной уверенностью в существовании Божьего Провидения. Поэтому даже если в душе персонажа бушуют страсти, если у кого-то неприятность или беда, милостивый Господь выведет его на путь добра, и все сложится наилучшим образом («Простая история»). Душевные терзания и потрясения подобны у Агнона нагоняющему тучи ветру, и по Божьей милости горизонт непременно расчистится. Агنون пишет свои рассказы, словно ткет из иврита фольклор. Таким стилем записаны *агадот* еврейских мудрецов и хасидские истории, или *майсы*. Вера в Бога, вызволяющего еврея из любой беды, – таков фон, на котором разворачивается действие произведений Агнона. Но было бы ошибкой полагать, что там нет фатальных трагедий и мучительных душевных борений. Только все бури скрыты под тщательно выделанным народным стилем, который подобен «медленно текущим водам Шиллоаха» (Исайя, 8:6). Под тщательно пригнанными друг к другу словами бушуют морские бездны, человек борется с Богом или судьбой, с собственной душой, с разрушительными силами внутри себя, увлекающими его в царство нечисти и мрака. Потому что его герои – истинные богатыри, они изо всех сил пытаются противостоять дьявольским козням, стремясь к высшему Свету своего alter ego, к своей бессмертной и чистой Божественной искре. Оттого его персонажи нередко кажутся странными, непонятными. Словно лунатики движутся они в мире Творения, помимо собственной воли оказываются в непредвиденных обстоятельствах, но, как я уже говорил, верное сердце всегда побеждает, ибо тянется к свету, к Богоявлению в собственной душе, «хранит верность своей первой, изначальной любви» («Клятва верности»). Отсюда – символическое значение агноновских описаний, даже самых реалистических. Это символизм, часто уводящий глубоко в мистику, в сокровенные каббалистические тайны.

Следует подчеркнуть увлекательность агноновских сюжетов. При всех изысках стиля, проникновенном лиризме и отточенности письма, в рассказах Агнона есть напряженная динамика. В реалистических произведениях («И молодежь, и старцы») Агنون запечатлел бытие галицийских набожных евреев конкретного периода – от переворота, вызванного движением Гаскала, до зарождения сионизма. Он создал «эпос» о еврейском городке в Галиции с его мифами и уникальным отношением к жизни, подобно тому, как Менделе Мойхер-Сфорим запечатлел местечко на Волыни. Роман «Гость на одну ночь» описывает крах такого городка. И даже в романе, действие которого происходит на Земле Израиля, – «Совсем недавно», в этом как будто совершенно реалистическом повествовании веет духом народного предания, отчего многие главы романа превращаются в мистическую аллегорию, а другие – в сатиру с аллегорическим подтекстом, как, например, приключения пса по кличке «Балак». Агنون, как всякий истинно народный автор, стал летописцем нашей эпохи.

Ш.А. Агнон

Гер-цедек

Из цикла: «Сверток с историями», т. 8: «Те и эти»

К началу вечерней молитвы в наш дом учения зашел странный незнакомец. Если встретится тебе такой в лесу, поспеши исповедаться, прочесть молитву *Видуй*. Он стоял, где стоял, и глядел, будто иноверец, что ненароком забрел в святое место. Поздоровались с ним и спросили, откуда он. И он в ответ пожелал им здоровья, и их протянутые для приветствия руки потонули в его мощных ладонях. Отвечал он на смеси еврейского с языком иноверцев и сказал: «Я пришел издалека, из страны России. Батюшка мой – епископ, он обременен богатством и большим имуществом, поскольку жители той страны весьма привержены своей вере и щедро одаряют священников. Я, однако, оставил все отцовские сокровища ради сокровищ Отца нашего Небесного. Ибо душа моя жаждала веры народа Израиля, веры истинной, подобной которой не сыщешь ни у какого народа. И, слава Создателю, прошел я *гиюр*³ и стал правоверным иудеем». И произнося слово Создатель, он перекрестился, но тотчас укусил свои пальцы, поспешившие сотворить то деяние. И снова сказал, что проделал все, что положено, и стал правоверным иудеем. С тех пор он прозывается Авраам *гер-цедек*, по имени еврейского праотца Авраама, первого из обрезанных.

Поглядели на него прихожане дома учения и сказали: «Выражение его лица и все его повадки, как у еврея, однако видно, что из потомков Эсава он».

И пристал к нему один из них, и стал допытываться: «Может, ты знаешь такую-то молитву христиан, скажи нам, какова она».

Отвечал ему рабби Авраам и сказал: «Возможно ли в святом месте, где молится святой народ Израиля и стоит святой ковчег со свитками Торы, возможно ли здесь говорить слова чуждой молитвы? Даже если бы мне посулили все сокровища, что есть на свете, не стал бы того говорить».

Обрадовались прихожане дома учения и сказали: «Славно ответил ему рабби Авраам, убедительно. Прост он, как иноверец, и смышлен, как еврей».

Достал рабби Авраам лоскут, а в лоскуте бумаги завернуты. «Это, – сказал, – бумаги, что дали мне святые люди, общинные раввины, когда я прошел *гиюр* и сделался иудеем. Я их прочесть не умею, но вы-то наверняка сумеете их прочитать. Может быть, хотели бы вы взглянуть на них».

Взяли у него бумаги и прочли: «Будьте благосклонны к этому человеку, оставившему свою семью и отчий дом и пришедшему под покровительство Пресвятого, да будет Он благословен. Велика заповедь возлюбить его, помогать ему и поддерживать, как сказано: и возлюбите пришельца, чтобы дать ему хлеб и платье. И следует всем евреям, милосердным потомкам милостивых, щедрых в народе Бога Авраамова, привечать его словами добрыми и ласковыми и ублажать его подаянием, чтобы прочно встал на ноги и не терзалось сердце его».

Приняли прихожане слова сии близко к сердцу, и опустил каждый руку в свой карман. Даже бедняк, наслаждаясь заповедью подаяния, наскреб у себя грошик и отдал *геру*, пренебрегшему всеми отцовскими сокровищами ради сокровищ Отца нашего Небесного. Восславил рабби Авраам потомков праотца нашего Авраама, щедрых в милости и благих делах. Они же в ответ его восславили, ибо прилепился к

³ *Гиюр* – религиозное таинство, процедура перехода в иудаизм. Прозелит в иудейской вере называется *гером*, а *гер-цедек* означает «праведный прозелит».

святой *Шехине*. Спрятал рабби Авраам свое добро и лучезарно улыбнулся Израилю, и они в ответ смотрели на него с приязнью.

Вдруг схватился рабби Авраам рукой за живот и вскричал: «Ой!» Содрогнулись все прихожане и сказали: «Господь с тобою, рабби Авраам! Может, неладно у тебя со здоровьем?» Отвечал рабби Авраам: «Сгинуть бы тем людям из моего роду-племени, которые, как прослышали, что я оставил чуждое служение и пошел совершить *гиюр*, погнались за мною и выстрелили в меня свинцовой пулей, и та пуля поныне огнем жжет мне нутро. И уже хотели еврейские лекари вынуть пулю из моего чрева, я же им не позволил, чтобы муками искупить грех поедания свинины, что служила мне пищей, пока я оставался иноверцем».

Тут один насмешник нашел время пошутить. Подмигнул соседям и сказал: «Видно по лицу рабби Авраама, что не одну свинью он съел». Метнули в него прихожане гневные взгляды и прикрикнули на охальника: «Сколько бы павлинов и фазанов ни съел рабби Авраам, это дело прошлое, а ты пришел и теперь за это над ним потешаешься».

Опустил рабби Авраам взгляд долу в смущении и сказал: «Все верно, я был иноверцем и ел свинину. Ибо не знал, что преступаю запрет». И как назвал неположенное мясо, сплюнул на пол с таким отвращением, что капли слюны попали на лицо насмешника.

Тем временем подошли люди из других домов учения, чтобы выказать *геру* почтение. Даже старцы, что не утруждают себя переходами, прибыли из своего *бейт-мидраша* в наш *бейт-мидраш*, чтобы оказать почет гостю, оттого что Пресвятой, да будет Он благословен, велел относиться к *геру* без чванства и гордости. Они ему «здравствуйте», и он им «здравствуйте». Руки его – руки Эсава, но в том, как он отвечал, было все-таки что-то еврейское. Даже женщины и девицы прошли у порога дома учения, чтобы взглянуть на пришельца, и если б не мелюзга из *хедера*, набежавшая, чтобы оттеснить женский пол от святого места, непременно преступили бы грань и зашли внутрь.

И снова рассказал рабби Авраам на смеси языков, что его отец – богатый священник в российской губернии, и так далее. Он, однако, оставил отцовские сокровища ради сокровищ Отца нашего Небесного. И хотя это уже было всем известно, слушали его с наслаждением.

Стояли наши городские мудрецы и толковали во славу Всевышнего, мол, хоть зачат и рожден этот человек был не в святости, вскормлен он был, как видно, из источника святости, и о подобном учили мудрецы Талмуда, толкуя стих Писания: «и накормила Сара сынов грудью». А было так. Народы мира переглядывались и говорили: «Видали вы, старик и старуха нашли на рынке подкидыша и говорят: это наш сыночек». Что сделал Авраам? Пошел и пригласил всех великих людей того поколения, а Сара позвала их жен, и каждая пришла со своим младенцем, но без кормилицы. И случилось с нашей праматерью Сарой чудо: ее груди разверзлись, как два родника, и она одна всех накормила. И те младенцы, которых накормила Сара, все сделали *гиюр* и стали Божьими сынами. И в будущем, когда Храм будет отстроен заново, прозелиты станут служить в нем и вкушать от хлебов подношения. И еще толковали мудрецы нашего города, что прозелиты свидетельствуют о святости народа Израиля: поскольку всякая священная вещь нуждается в дополнении, как то объясняется в законах Субботы и Судного дня, и коль скоро народ Израиля свят, есть у него дополнение, и это – прозелиты.

Рабби Авраам кивает благодушно, как тот, кто знает, что во славу ему говорятся слова, хотя сам ничего не понимает. И снова схватился за живот и вскрикнул: «Ой!», оттого что боль опять стала терзать его. Наши прихожане принялись сказывать старикам, прибывшим из прочих синагог и домов учения, историю этой боли и почему рабби Авраам не принял врачебной помощи. А рабби Авраам снова схватился за живот, и выпали у него из-под кафтана бумаги. Он их поднял и сказал: «И вы тоже можете прочесть». Прочел тот, кто не читал, и воздали ему деньгами. И он тоже воздал им за их деяние, ибо сказал, что сознает, как им это непросто, но что поделаешь, если отец лишил его наследства, но даже если бы и не лишил его наследства, он не взял бы у него ни гроша, ибо не хочет наслаждаться доходами, нажитыми чуждым служением. Однако кушать ему надобно, и если Пресвятой, будь Он благословен, дал ему новую душу, то тело его осталось прежним.

Ответил кто-то и сказал: «Не волнуйся, рабби Авраам, все, что мы даем тебе, даже меньше капли в том море, что дали *геры* народу Израиля. Ведь все, кто был на одном корабле вместе с пророком Ионой, видели чудеса и знамения, сотворенные Пресвятым, да будь Он благословен, сделались иудеями и взошли в Иерусалим, где принесли жертвы Богу Израиля. И это не говоря уж о подарках, которые они поднесли *коэнам*, и о мясе, которое роздали бедным, и о многих пожертвованиях городу Иерусалиму и его мудрецам.

И снова рабби Авраам покивал головою и сказал: «Великие слова вы молвите, и пусть я ничего не понимаю, однако ж признаю, что во всех тех словах – истина, ибо все, реченное народом Израиля, верно и справедливо».

Выступил тут *габай*, синагогальный староста, положил руку ему на плечо и сказал: «А теперь, рабби Авраам, отправимся ко мне и преломим хлеб вечерней трапезы».

Ухватился рабби Авраам за живот и тяжело вздохнул: «Ох, кто может есть, когда свежая рана как огонь полыхает в нутре».

Габай сказал: «Кошерная пища лечит. Положись на меня, рабби Авраам, в моем доме тебя ждет кошерный ужин». И тотчас подхватил рабби Авраама под руку, чтобы не опередил его кто-нибудь другой.

Рабби Авраам сидел за обильным столом, ел, пил в свое удовольствие и рассказывал о золоте и серебре своего отца, о полях и лесах, что в его владении. Взволновалось от этих слов сердце *габая*, но *габай* изо всех сил старался обуздать свое сердце и сдерживать его порывы. Он укреплял гостя в еврейской вере и говорил о том, что уготовано нам в будущей жизни. И не только там, но и в этом мире есть евреи, которых Пресвятой, будь Он благословен, не обошел Своей милостью, и, к слову сказать, ему самому тоже нет причин жаловаться.

По завершении трапезы хозяин постелил гостю удобную постель в большой зале. В той зале, где у него были выставлены красивые вещи и стоял особый шкаф для серебряной посуды, а все для того, чтобы отрадно было гостю и чтобы он воочию убедился, что не одни священники богаты, но и сыны Израиля не бедствуют, и среди них тоже имеются богачи. Есть, благодарение Создателю, такие зажиточные хозяева, у коих в отдельном шкафу хранится серебряная утварь и всякие украшения. Наконец оставил гостя одного, благословив на добрый сон и довольный тем, что удостоился принимать у себя в доме праведного прозелита, пожелавшего войти под сень *Шехины*.

Несомненно, что и в нашем сиротливом поколении есть люди, не ведающие зависти. Но в ту ночь многие горожане завидовали синагогальному старосте, оттого

что удостоился залучить под свой кров *гер-цедека*. Велика сила богатства, которое кормит своего хозяина в этом мире и расширяет его удел в Райских куцах.

Пока *габай* занимался гостем, несколько горожан стояло на улице, и один перед другим перевозносил *гера*. Мол, сын епископа, сын знатных богачей, сын правящей нации, и от всего-то он отказался – и от почета, и от несметного состояния, но пошел и прилепился к потомкам праотца нашего Авраама, у которых нет никакой власти и которых все народы обливают презрением. Он же, бедный, совсем с лица спал, добывая себе пропитание. И как перевозносили его горожане за то, что презрел сей мир ради удела в будущем мире, так же расхваливали его мудрость – вот ведь вовремя додумался и стал иудеем, потому что если завтра придет Машиах, поздно будет делать *гиюр* и просить удела в грядущем мире.

Уж как мила и сладостна *Шехина* нашим городским евреям, а тут каждый чувствовал восторг, оттого что поблизости, совсем рядом с ним, обретается *гер-цедек*, праведный прозелит. Он озаряет их своим светом на глазах у всех народов, ибо отказался от земных благ ради того, чтобы слиться с народом Израиля.

Еще не рассвело, а уж прихожане дома учения собрались на совместную утреннюю молитву, ибо душа каждого жаждала помолиться вместе с *гером* праведным. И когда ведущий молитву произнес: «и за прозелитов праведных», взволновалось его сердце, и в душевном подъеме он провел всю службу на мотив «и заключил с ним Союз», как если б это была служба по случаю обрезания.

Завершилась ранняя совместная молитва, а *габая* все нет и нет. В другой день этого бы не заметили, а в тот день все ждали его прихода и прихода его гостя, и их опоздание было для всех мучительно. Когда же еще час прошел, а староста не появился, сказали бывшие с ним в дружестве: «Следует нам пойти поглядеть, что они там делают».

Они пошли к старосте и видят – стоит тот перед своим домом и руки ломает. Но не успели вопрос задать, как из дома донеслись горестный вопль и причитание. Выяснилось, что ночью в дом залезли воры и вынесли все, что было. Все дочиста. Беда, случившаяся с синагогальной старостой, отвлекла пришедших от мыслей о госте. Тем временем подошли еще люди, для которых деньги и имущество были не столь важны, и стали спрашивать о рабби Аврааме, прозелите. Но никто не знал, где он, потому что в великом огорчении от кражи позабыли о *гер-цедеке*.

Прошел час или два, и тут прибыл некий начальник и с ним два жандарма. Все подумали, что они пришли, как обычно, по следам происшествия. Они же явились из-за одного еврея, злостного обманщика и воровского атамана, который выдает себя за *гера*, ходит по еврейским местечкам, городам и деревням, вводит евреев в заблуждение и выманивает у них деньги. И еще он высматривает у них в домах, чтобы потом там могли поживиться его товарищи.

«Навет, евреи, навет! – закричал один из бывших на рынке. – Клевета на всех нас в наказание за то, что рабби Авраам оставил их веру и сделался иудеем». Но остальные помалкивали, размышляя о беде, постигшей синагогального старосту. Ведь именно в ту ночь, что *гер* у него ночевал, пришли воры и весь дом обчистили.

Город был как потерянный. Одни скребли свои руки, обвиняя их в поспешности, с которой жали руку обманщику, другие подносили руки к сердцу, как если б щемило их сердце от неизлечимой болезни. Те и эти потупили очи от стыда и позора. Вырвется горестный вздох из чьей-то груди, и тут же другой ему вторит: «Ох-ох-о...». Велика потеря старосты, но еще большего лишились городские жители. И если поймают вора, возможно, обнаружат у него часть украденного и вернут владельцу, но вот горожанам кто и как возместит их потерю.

Побирушки и нищие, которые поначалу тоже прониклись к *геру* состраданием, теперь стали всех поучать и укорять: «Так вам и надо, жители нашего города. За то, что вы не хотите знать порядочных бедняков, Пресвятой, да будет Он благословен, послал вам *гер-цедека*, чтобы вы украсили себя милосердием. И в будущем мире вам уготовано место рядом с гостем вашим – в заслугу за честь, что вы ему оказали. Ай-яй-яй, и с чего это вы стали вдруг такими щедрыми, что озолотили его? И ведь это не считая того добра, что он сам к рукам прибрал».

По прошествии времени вора поймали. Нашли у него часть украденного и вернули синагогальному старосте, а мошенника упекли в тюрьму. Не сказать, чтобы радость старосты была полной, ведь ему вернули лишь малую долю его имущества. Как бы то ни было, он мог хоть немного утешиться. Но прочих наших горожан поимка вора, как кажется, лишила последних надежд на утешение.

Проповедь

Наш родич, много лет служивший раввином, благословенной памяти рабби Ошер Зелиг, сын святого *магида* рабби Биньямина⁴ из Золозица, чья душа обитает в сокровенных высотах, не поминал об этом случае даже намеком, однако добром помяну того праведника, рабби Меира из Збруча, что рассказал мне историю о том, как дело было. Наш родич, святой рабби Биньямин, чья душа обитает в сокровенных высотах, был наставником праведных в святой еврейской общине Золищиков и в святой еврейской общине Заложиц, где и упокоился, и еще слышал, как учили святой наш учитель Бешт, и Великий *магид*⁵ рабби Дов Бер из Межерича, и рабби Михл из Злочева, и прочие святые превознесенные праведники того поколения, и сам много всюду разъезжал и выступал с проповедями, чтобы вновь обратились сердца Израиля к их Отцу Небесному. И всякий, кто слушал речи того праведника, не успокаивался, пока не совершал покаяние. Даже если преступил человек все законы Торы, едва только слышал его назидание, тотчас обращался к исполнению заповедей и добрым деяниям. Многих отвратил рабби Биньямин от греха. Люди, погрязшие среди *клипот*⁶, возвратились с его помощью к праведности и удостоились прогуливаться в Райских куцах. Сказывали о нем, о том цадике, что как-то раз прибыл он в большой город Яссы, где было много евских нечистое и запретное, встал на базаре и воскликнул: «Вразумляющий народы ужели не обличит?»⁷ И сказал рабби Биньямин жителям Ясс: «Вразумляющий народы ужели не обличит вас?» Тут же все разом зарыдали и совершили покаяние. В тот самый день они разбили вдребезги всю посуду, в которой варили запретные кушанья, и бросили черепки в реку, и столько было этих черепков, что встали воды реки стеной.

Тринадцать книг оставил по себе тот праведник, но сохранилось лишь четыре, которые его сын, рабби Ошер Зелиг, спас от пожара, а все прочие книги вознеслись в пламени на Небеса в тот день, когда Заложицы пожрал огонь. Жаль, что потеряны для нас сладкие слова, способные пробудить душу, и толкования о видимом и сокровенном, явленные тому цадик, вернулись в свои тайники. Но добром помяну нашего родича, благословенной памяти рабби Ошер Зелиг, много лет прослужившего раввином, который душу положил, чтобы напечатать то, что осталось. Все свое состояние он потратил на печатание отцовских книг. И весьма помогла ему его первая жена, которая продала все свои украшения и серебряную посуду, а вторая его жена пожертвовала даже большим, ибо распродала всю домашнюю утварь и обрекла себя на житейские невзгоды. А наш родич, раввин рабби Ошер Зелиг поначалу не был ни раввином, ни магидом, ни проповедником, а

⁴ Р. Биньямин (умер в 1793), сын р. Аарона из Волочайска и Заложиц, «был одарен ученой речью и сыплющими перлы устами». Он объезжал многие города и выступал с проповедями и назиданиями, которые, по свидетельству слышавших его, пленяли сердца публики. В своих книгах р. Биньямин высоко оценивал собственные выступления и много писал о важности проповедей и общественного назидания. Он ссылаясь на Бешта и на других ранних хасидских учителей: р. Яакова Йосефа из Полонного, р. Михла из Злочова, р. Менахема Мендла из Перемышля, р. Нахмана из Бреслава и др. Автор четырех книг, изданных его сыном, р. Ошером Зелигом, после смерти автора (Ицхак Верфель. *Сефер а-хасидим*, 1947).

⁵ *Магид* – наставник и вождь; титул некоторых хасидских цадиков.

⁶ *Клипот* (ед. ч.: *клипа*, букв.: шелуха), каббалистический термин; в учении р. Ицхака Лурии (XVI век) обозначает силы зла, «налипшие» на искры Божественного света, рассеянные в нашем мире. Хасиды видят смысл еврейского служения в высвобождении этих искр из плена *клипот*.

⁷ *Теиллим*, 94:10. Брацлавские хасиды поют этот псалом.

был обычным еврейским домохозяином, честным и неподкупным торговцем, постоянно уделявшим время также учению.

Однажды рабби Ошер Зелиг прибыл с товаром в Бердичев. Ныне Бердичев не является важным местом для торговцев и торговли, но прежде, в поколение рабби Ошера Зелига, более ста лет тому назад, все знатные купцы съезжались и собирались на торги в Бердичеве. Рабби Ошер Зелиг обходил постоянные дворы и корчмы в поисках свободной комнаты, но повсюду ему отвечали: нет. Пока не пришел, наконец, к одному корчмарю, и тот ответил ему: есть.

Спросил его рабби Ошер Зелиг: «Может, есть у вас для меня отдельная комната?» Тот спросил: «А как вас по имени?» Он ответил: «Ошер Зелиг я по имени». Тот сказал: «Много Ошер Зелигов есть на базаре». Он ответил: «Я сын Магида из Заложниц».

Как услышал корчмарь, кто перед ним, отвел ему славную комнату на своей половине, и почтил его всяческим почтением, и называл его рабби, и спрашивал: «Когда наш рабби почтит нас проповедью и в каком *бейт-мидраше*⁸ изберет выступать?»

Сказал он ему: «В пятый день по субботе прочту проповедь в малом *бейт-мидраше*», – и не потому, что предполагал выступать, а потому, что хотел пресечь вопросы, ибо не умел проповедовать и сроду никогда не выступал. А про себя подумал: «До пятого дня по субботе распродам свои товары и покину Бердичев».

Когда прошел слух, что сын того праведника пребывает в городе, явились к нему несколько знатных хасидов засвидетельствовать свое почтение. Пришли, пожелали ему доброго здоровья и пустились обсуждать с ним слова Бога Живого.

Огорчился рабби Ошер Зелиг, что пренебрег жизнью в будущем мире ради суеты бренного существования. И когда гости ушли, взял и продал все товары своему напарнику и, свободный от забот, предался благочестивому учению.

Напала на него дремота, и он заснул.

Во сне явился ему отец и сказал: «Сын мой, что ты здесь делаешь?» Он ответил: «Я пришел торговать и распродать свои товары». Отец сказал: «Сын мой, что это ты сказал жителям Бердичева, что собираешься выступить с проповедью в пятый день по субботе в малом *бейт-мидраше*?» Он ответил: «Папа, так-то я им сказал». Отец сказал: «Сын мой, так и поступиай, как обещал, ибо пристало тебе выступить с проповедью».

Он сказал: «Папа, но ведь я в жизни никогда не выступал». Отец ответил: Коли ты обещал, не можешь отступить от своих слов. Но я дам тебе добрый совет: говори проповедь в большом *бейт-мидраше* и в субботний день. Ведь если станешь проповедовать в пятый день по субботе, найдутся такие, кто захочет послушать, да не сможет оставить заботы о хлебе насущном; выходит, богачи придут послушать, а бедняки не смогут прийти. И если ты станешь проповедовать в малом *бейт-мидраше*, найдутся такие, кто захочет послушать, да не сможет из-за тесноты; кто локтями умеет работать, протолкнется и услышит проповедь, а людей кротких

⁸ *Бейт-мидраш* – дом учения, помещение – иногда при синагоге, иногда отдельное, – где хранились священные книги и куда евреи приходили учиться и обсуждать Талмуд и прочие раввинские сочинения. Существовал на пожертвования общины, либо ее состоятельных членов.

выпихнут на улицу. Оттого надлежит тебе выступать в большом *бейт-мидраше* в субботний день, и тогда весь народ сможет прийти и тебя послушать.

Он сказал: «Папа, но я ведь не умею проповедовать». Отец ответил: «Когда взойдешь на возвышение, я скажу тебе, что говорить». Он сказал: «Папа, но я боюсь публики». Отец ответил: «Обещаю тебе, что встану у тебя за спиной».

На следующий день рабби Ошер Зелиг объявил, что выступит с проповедью в субботу в большой синагоге. И когда настала суббота, весь город собрался послушать проповедника.

Встал рабби Ошер Зелиг, завернулся в талес, взошел на возвышение и начал словами Бога Живого, и стал проповедовать, и были его речи радостны, как если бы даны они были при Синайском Откровении. Тут уж все великие, бывшие там, склонили пред ним головы и назвали его рабби, и сказали: «Хороши ваши слова, как слова вашего святого отца, да будут его заслуги нам защитой».

Оттого рекомендательные предисловия великих евреев того поколения в книгах святого *магида*, которые вышли в печати благодаря его сыну, нашему родичу, раввину рабби Зелигу, отличны одно от другого. В одних сказано, что раввин рабби Ошер Зелиг большой знаток Учения и законченный мудрец, а в других его превозносят и многожды прославляют. Те написаны прежде его проповеди, а эти – после проповеди.

Трубка моего покойного деда

Если вы бывали в доме учения бучачского раввина, возможно, заметили там блестящую медную лампу, отсвечивающую золотом, что висит на восточной стене, над местом моего деда. Эта лампа – дар моего покойного деда, который уплатил за нее золотым червонцем, доставшимся ему по забывчивости. Как, спросите, по забывчивости? Об этом стоит рассказать.

Мой благословенной памяти дед всю жизнь был окутан дымом. С того мгновения, как кончалась святая суббота, и до наступления следующей, с ранней зари и до отхода ко сну, дымящаяся трубка не покидала его рта. Даже во сне его губы шевелились и издавали свое пф-пф.

Много разных трубок было у моего деда. Были длинные, свисавшие ниже пояса, с роговым или янтарным мундштуком, с деревянной чашей или чашечкой из какого-нибудь заморского материала, а чубуки были сделаны из черешни или из самшитового дерева, и слой нагара в чаше цвета пепла или цвета темной травы, оливковый либо медвяный, а не то густой, как красное вино. Серая трубка служила для будней, темная до черноты – для новомесечий, оливковая – для Хануки, бордовая, как красное вино, – для Пурима, а для особых дней и для будних дней праздников паломничества⁹ – янтарная, та самая целиком сделанная из янтаря трубка, которую прислал деду наш родич, мудрец р. Довид Цви Миллер из Вены¹⁰, да

⁹ Три праздника паломничества есть у евреев; в древности все жители страны совершали в эти праздники восхождение в Иерусалим и приносили жертву в Храме. Праздники эти – Суккот, Песах и Шавуот, и два первых из них длятся по семь дней, из которых крайние – святые дни, по примеру святой субботы, а промежуточные дни называются буднями праздника, и многие вещи, которые в субботу делать не дозволено, в частности, разжигать огонь, в эти промежуточные дни делать можно. (*Примеч. пер.*)

¹⁰ Уроженец Бучача Давид Цви (Гейнрих) Миллер (1846–1912) был выдающимся исследователем семитских языков, занимал должность профессора в Венском университете и удостоился титула придворного советника.

покоится с миром, и о нем мы еще расскажем несколько примечательных историй. Дни в календаре различались нарядами моей бабушки и кушаньями на ее столе, а также трубками моего деда.

И еще немало трубок висело у деда на стене, ими он угощал гостей, предлагая им покурить. Принято потчевать гостя вкусным кушаньем, добрыми напитками и словами святой Торы, а еще можно угостить его трубочкой табаку, и никто не стесняется принять таковое угощение, даже и прилюдно. Когда табак был явлен миру и люди пристрастились к курению, пришла та травка к Пресвятому, да будет Он благословен, и сказала: «Владыка мира, надо всем, что Ты сотворил, человек произносит благословение, над хлебом он благословляет: Благословен Ты, Господи..., выводящий хлеб из земли, над вином говорит: творящий виноградный плод, над древесными плодами – творящий плод древесный, а над овощами и зеленью – творящий плод земной. Но ведь и эту траву тоже Ты сотворил, отчего же нет для нее благословения? Отвечал Пресвятой табаку: Вот что Я для тебя сделаю. Мудрецы определили все благословения прежде, чем мир о тебе прослышал, а Я к их словам ничего добавлять не могу. Однако вот чем Я тебя утешу: тобою люди будут оказывать друг другу благодеяние, и не зазорно будет им попросить щепотку табачку, ни великому у малого, ни простому у знатного».

И была у моего деда привычка прикуривать трубку от пламени свечи или от печной конфорки. Не оказывалось под рукой ни свечи, ни уголька, зажигал от огнива. Огниво его было сделано из круглого черного камня, а в камне виднелись маленькие существа, которые застряли там по воле Небес, и еще железный брус был у деда и мочало из сухих трав. Ударяет дед камнем о железо и высекает огонь, огонь поджигает мочало, а уж от него дед зажигал свою трубку. Если кто хотел деду потрафить, как увидит, бывало, что дед ищет огонька, тотчас достанет спички и подносит ему огонь. И хотя огонь, добытый без всякого усилия, не слишком радовал деда, он утешался тем, что людям приятно угодить старику. Привычка, коль скоро нет от нее вреда, со временем непременно отплатит добром тому, кто за нее держится, более того, спасет от прегрешения, более того, и самое прегрешение, еще не совершившись, обернется заповедью. Как так? А вот как.

Однажды, в будние дни праздника Суккот, поднялся мой дед с постели по обыкновению своему в три часа ночи. Кровать его с первой ночи праздника Суккот до Шмини Ацерет стояла в *сукке*¹¹, и он все свое время проводил в *сукке*, которую покидал лишь для общинной молитвы. Правда, в прочие дни года оправданием для раннего пробуждения служил поход в дом учения, но в праздник он оставался в своей *сукке* и сидел над книгами вплоть до утренней молитвы. Вот и в тот раз, встав с постели, он взял трубку и книгу для занятий. Налетел ветер и загасил свечу. Дед хотел было зайти в дом, но пожалел своих домашних, которые могли проснуться. Пошарил в карманах, но ничего, способного выжечь огонь, не обнаружил. Надел верхний кафтан и пошел в дом учения.

По пути заметил – вроде огонек светится, не то керосиновая лампа, не то папироса. И пошел на огонек. Подойдя поближе, заметил на камне красный огонь величиной с монетку. Сунул огонек в чашу трубки и поспешил в дом учения. А та ночь была ночью святой субботы, что выпала посреди праздника. И не удивляйтесь, что я главного-то не сказал. Уже если о том забыл мой дед, равного которому в

¹¹ Шмини Ацерет – восьмой день от начала семидневного праздника Суккот. В Суккот все мужчины обязаны спать и есть в куше, называемой *сукка*, – это особым образом устроенный шалаш с проницаемой для дождя крышей. (Примеч. пер.)

тщательности соблюдения субботы не было в его поколении, чего ждать от меня, ведь в нашем поколении некоторые соблюдают субботу, а некоторые – сами знаете, вот и не удивительно, что я позабыл сказать, что была суббота.

Вошел мой дед в дом учения и увидел, что все одеты по-субботному. Содрогнулся до глубины души, и ужас объял его. Трубка выпала у него изо рта на пол, и выкатился из нее золотой червонец. Тут дед понял, что это червонец светился в ночи, будто огонек. Воздел дед обе руки к небу и возблагодарил Создателя, что удержал его от нарушения святости субботы. С тех пор мой дед дал зарок не курить в святые дни праздников¹², а иные говорят – и в будние дни праздников.

По исходе субботы солнце закатилось и вернуло моему деду его трубку, а в добавок и выпавший из нее золотой червонец. Доложил мой дед к тому золотому еще один такой же и велел послать за раббраббии Исроэлем, медянщиком. Это тот самый рабби Исроэль-медянщик, к которому приходит в гости сама святая суббота в человеческом образе, как мы рассказали в другой истории под названием *Шабтай*.

Протянул мой дед золотой червонец рабби Исроэлю и сказал: «Купи на него меди и сделай мне красивую лампу». И тот сделал. Ту самую лампу, что висит в доме учения бучачского раввина на восточной стене, над местом моего деда – чтобы служить всегдашним напоминанием о великой милости, которую содеял деду Пресвятой, да будет Он благословен, удержавший его от нарушения святой субботы.

И все-таки не вполне гладко выходит. Человек, остерегавшийся нарушить любой, самый незначительный запрет субботы, отчего ж был наказан тем, что взял в руки деньги, то есть вещь, для субботы запретную? Если хотите, я вам объясню. Это оттого, что уж очень он был привязан к курению, и ему дали понять, что не следует слишком потворствовать жажде наслаждения, даже если это наслаждение и дозволено. А все ж таки не вполне гладко выходит. Человек, которого Всевышний поместил в поколение праведных, как смог позабыть о субботе? Если хотите, я вам объясню. Из-за заповеди о пребывании в *сукке*, которую мы можем исполнять всего семь дней в году, мой дед позабыл заповедь о субботе, которую мы можем исполнять каждые семь дней. А еще, если уж вам так хочется, признаюсь, что у меня и самого нет ответа.

Мертвая девочка

1.

У моего покойного деда была младшая сестра. В целом свете не было другой такой красивой девочки, как сестра моего деда. Но однажды заболела та девочка, сестричка моего деда. И заболела весьма сильно. И слегла она и больше не вставала с постели. И увидели, что не стало в ней души, и призвали людей из погребального братства, и забрали ее, и снесли на кладбище. И выкопали ей могилу, и положили ее в землю. И схоронили ее, и засыпали прахом земным. И не знали они, что мнимой смертью умерла она. Уснула девочка, но не мертвый сон ее сковал.

И сели мать и ее сыновья на землю и скорбели о ней весьма. И никак не могла мать утешиться,¹³ ибо горько было у нее на душе. И не внимала тому, что говорили ей

¹² В святой день праздника, *йом тов*, дозволено переносить огонь, а следовательно, и курить, что категорически запрещено в святую субботу (*шабат*).

¹³ Аллюзия на сказанное о Якове, когда он счел, что Йосефа «растерзал хищный зверь»: «И не хотел Яков утешиться» (*Берешит*, 37:35), и на комментарий Раши к этому стиху. Ссылаясь на мидраш *Берешит раба*, Раши поясняет: «не хотел утешиться – человек не принимает утешения [когда скорбит] о живом, думая что он мертв»;

соседки и дети, но кричала: «Верните мне мою доченьку, верните мне мою доченьку, верните мне мою девочку». И никто ничего ей не отвечал, и никто ничего ей не возвращал, ибо кто ж вернет то, что поглотила могила». Также и ночью не нашло материнское сердце покоя, и она кричала: «Доченька моя, дочь моя единственная, как же тебя вдруг не стало? Почему забрали тебя чужие люди и закопали в землю?»

2.

А девочка лежала в могиле, пока не пробудилась. И было: когда проснулась девочка, видит, кругом темно. И провела руками по глазам, и упали черепки, которыми прикрыл ей глаза могильщик. И все-таки не пала она духом и не отчаялась. И принялась стучать о двери своей могилы. И было: когда ей не открыли, она пришла ночью во сне к моему деду, и возвысила голос свой, и плакала весьма сильно. И сказала: «Отчего так случилось, что меня похоронили живьем?» И услышал это мой дед, и не сказал братьям и матери о том, что слышал, чтобы не сжались страхом их сердца, как сжалось от страха его сердце.

И было на следующий день, и встали братья поутру и сели на землю. И сказал Мордехай, младший брат моего деда, своим братьям: «Я видел сон». И воскликнул его брат Шимон: «Вот и мне привиделось во сне». И сказал их старший брат Шломо: «И я тоже сон видел. Но молчите». И не стали братья больше говорить о том, чтобы ненароком не услышала матушка. И сказали: «Пустое говорят все эти сны».

И сидели каждый сам по себе и друг с другом не разговаривали, ибо тяжело было у них на душе.

3.

В ту ночь, когда молящиеся ушли из дому на молитву, а братья легли спать и заснули, сидела их мать на низенькой скамеечке и смотрела на поминальную свечу. И подул с улицы легкий ветерок, и поправили братья на головах свои ночные колпачки, и повернулись на другой бок. И вот, открывается дверь, и в дом входит девочка.

Глаза у девочки потухли, губы мертвецки бледны, лишь капельки света едва оживляли ее.

И сказала девочка матери: «Матушка, я пришла к тебе. В теплом доме лучше, чем в темной холодной могиле. Очень страшно в могиле, целый день там гложет червь».

И пала мать на шею дочери, и заплакала.

И сказала женщина дочери, когда они сели рядом: «Отчего изранены твои руки, отчего обломаны твои ногти и сочтется из-под них кровь?» И ответила ей девочка: «Да ведь ногтями я разрывала свою могилу, руками отгребала землю, чтобы прийти к тебе, моя матушка».

И сорвала мать платок, что покрывал ей голову, и перевязала дочкины раны.

И сказала девочка: «Не принимай близко к сердцу, матушка, ведь мертвые не чувствуют боли». И склонилась мать над дочерью, и целовала ее раны, и плакала.

4.

Так сидела девочка со своей матерью, и много говорили они, и сладки были их речи. И сказала женщина дочери той ночью: «Разбужу-ка я твоих братьев, пусть повидают

а о мертвом постановлено свыше, что сердце его забывает, но если жив – нет». Этот рассказ Агнон написал библейским слогом, с библейской системой глагольных времен, что не типично для него.

тебя». И сказала ей девочка: «Пусть эти лодыри спят себе в своей постели. Больше им меня не видать, оттого что я их давеча молила, но они меня не выручили». И рассказала девочка матери, что пролежала весь день и всю ночь и весь следующий день, ожидая, что придут ее братья и растворят двери могилы, но они не пришли.

Еще они беседуют, а уж слышится с улицы звук шагов синагогального служки, направляющегося к заутрене.

Поднялась девочка и сказала: «А сейчас я пойду». И сказала ей мать: «Куда ты пойдешь?» И она отвечала: «В свою могилу».

И страшно испугалась мать и сказала: «Не ходи, пожалуйста, доченька. Я приготовлю тебе вкусенькое, как ты любишь, и подам тебе, и ты покушаешь». И сказала девочка: «Отпусти меня, и я вернусь на свое место, ибо вот-вот взойдет заря, и узнают люди, что я покинула свою могилу. Не горюй, завтра я приду к батюшке».

И не смогла мать ее больше удерживать, ибо задрожала вода в плошке с поминальной свечой, и свеча побелела. И поднялась мертвая, и омыла руки в воде, что в плошке. И сказала: «Живи благополучно, матушка, а я ухожу». И уходя, поглядела на спящих братьев и засмеялась. Сказала: «Больше не держу я на вас зла».

И пошла девочка, и вернулась на свое место, в могилу, и не приходила больше во сне ни к матери, ни к братьям.

И было: когда истекли семь дней траура, и поднялись скорбящие с земли, и вышли из дому, и пошли на кладбище, чтобы возложить надгробие на могилу девочки. Подошли они к ее могиле и видят: все могилы от края до края кладбища стоят без изменения. И лишь земля на могиле девочки перевернута, потому что разрыла ее девочка, когда ходила к братьям и к матери и дала зарок вручить им свою душу.

Башмаки

После кончины моей бабушки Гитл Рейзы, да покоится с миром, собрались ее дочери и невестки и поделили меж собой ее украшения, а платье отдали служанке Ривке и прочей прислуге. Прежде прислуга вытряхивала эти самые платья, теперь же, по смерти хозяйки, станет их носить. Но башмаки никому не отдали, а положили, где положили, ибо всякий, надевающий обувь покойника, как то известно, не проживет и года, сохрани нас, Господи.

Однажды ночью моя тетушка Сара увидела мою бабушку, да покоится она с миром, и лицо ее было печально.

Сказала ей дочь: «Ты чем-то огорчена, мама?» Та ответила: «Плохи дела, Сара, плохи дела, Сара». Дочь спросила: «Что с тобой, мама?» Та ответила: «Велика моя печаль. Ривка наша при смерти, а я не могу взойти на высоты и попросить смилостивиться над нею, оттого что она взяла мои башмаки, и не во что мне обуться».

По утру вспомнила тетушка свой сон и не придавала ему значения. Если у кого кто-то умер, сохрани нас, Господи, тот покойник в течение первого года обыкновенно является во сне к родичам.

Прошло два или три дня, как в доме разнесся слух, что Ривка заболела. Пошла моя тетушка ее проведать. Села против нее и увидела под кроватью башмаки своей мамы.

Стала размышлять и подумала, что, может, есть связь между сном и болезнью Ривки, но, не желая срамить Ривку, смолчала и ничего не сказала. Однако глаза ее

сами собою устремляли взгляд на башмаки покойной мамы. Почувствовала это Ривка и сказала: «Не удержалась я, взяла для себя башмаки твоей матушки, пусть покоится она с миром». Тетя моя глубоко вздохнула и промолчала.

Спросила Ривка: «Ты на меня сердишься?»

Сказала тетушка: «Я-то на тебя не сержусь, но, как кажется, есть некто, кто этого не одобряет». Та спросила: «О ком это ты?»

И она рассказала ей свой сон.

Услыхала обо всем Ривка, принялась хлестать себя по щекам, рвать на себе волосы и восклицать: «Горе мне, горе мне, что я наделала, что я наделала!»

Услыхали это ее родственники, пришли, взяли башмаки и отправились с ними на кладбище, и положили их на могилу моей покойной бабушки, пусть земля ей будет пухом. А в тот день выпало много снега, и они продвигались по пояс в снегу, но все-таки взошли на кладбище и дошли до могилы и вернули моей покойной бабушке ее башмаки.

С тех пор больше не видели мою бабушку в печали, ибо молитва ее за Ривку была принята. Ривка поправилась, и не стало у бабушки огорчения.

Прошло время, и она больше не появлялась среди живых, разве что была ей в том надобность, тогда она приходила, и у нее для этого свои пути-дороги были. Если судить по делам, что она вершила при жизни, можно сказать, что она, да покоится с миром, действует ныне в высшем Раю, вместе с прочими праведными женами.

Выздоровела Ривка и пошла припасть к могиле моей бабушки, да покоится она с миром, и попросить у нее прощения. А в тот день распогодилось, и снег растаял, и когда она пришла на могилу, не нашла там даже башмачного шнурка. По всему выходит, что это моя бабушка забрала башмаки, поскольку не было в нашем городе человека, который бы не знал о Ривкином злоключении, а кто же станет подвергать себя опасности, надевая те башмаки.

В лесу и в городе

В молодые годы мне выдалось проводить почти все свое время в лесу. В ту пору я был предоставлен самому себе. Гнет ученья я сбросил, а подставить спину под гнет заботы о хлебе насущном еще не успел, и все надежды мои были на отца, а потому я был свободен и мог делать все, что мне заблагорассудится. В дождливые дни, когда на дворе холодно, земля мокра и покрыта грязью, а небеса – сажей тяжелых туч, я лежал на кровати и читал книгу, а то заглядывал в клуб «Сион» и просматривал газеты, или усаживался рядом с товарищами послушать их беседу. И так же проводил я зимние дни, когда город занесен снегом и всякий, кого не гонят из дому заботы о пропитании, сидит у себя. Но стоило засиять солнцу весеннего месяца *нисана*, земля подсыхала, и я покидал свой городок и направлялся в лес. А когда солнце прочно обосновалось на небесном своде, дня не проходило, чтобы я не побывал в лесу. Каждый день, с восхода до заката я просиживал на траве в тени под деревом, съедал свой хлеб, читал Пророков и Писания и любовался всем, что созидал Творец меж небесной твердью и земной.

Как рассказать обо всем, что видели мои глаза, чему внимали уши мои среди лесных деревьев! Небо и земля, деревья и травы, грибы и ягоды, пышные цветы и тугие бутоны. С раннего пробуждения до ночного сна птицы и пичужки только и знают, что множат славу миру. Эти – переливчатым оперением, те – залиvistым пением, и час от часу расцветает их искусство, как у старых мастеров, которые

накопили свой опыт с годами. И в помощь им свет, что льется с небес на землю, то он кажется зеленоватым, то синеватым, то лазоревым, а то изумрудным, и тянутся куделью меж ветвей золотые нити. И в помощь им ветер. Предпочитает он разгуливать в одиночку, но стоит ему выйти, как всякая суть земная увивается за ним следом. Листья и былинки, бабочки и птицы, даже волны и водяная рябь, проворные отпрыски реки, поспевают вдогонку за ветром. Эта река течет среди лесных деревьев; молодые зеленые побеги накрывают ее у берегов зеленоватой тенью, и лягушки плюхаются в воду и возносят голос в песнопениях. По правде говоря, всяк в лесу поет и подает голос, отчего ж я припомнил пенье лягушек? Оттого что сказывали наши мудрецы, что когда царь Давид, да покоится с миром, завершил книгу псалмов, преисполнился великой гордости и воскликнул: «Ну сыщется ли в мире другое создание, способное слагать такие песни?» Явилась пред ним лягушка и сказала: «Зря ты бахвалишься, потому что я пою лучше тебя». Оттого и упомянул я пенье лягушек.

Лежал я так себе в лесу и не вмешивался в жизнь его обитателей, никого не поучал, мол, делай так, да делай этак. Я человек скромный, в чужие дела носа не сую, тем более – в дела мироздания, ведь если не мешать миру и не отвлекать от его занятий, он со своей работой справляется на славу, гораздо удачнее, чем умеем мы с тобою.

О том, что там текла река, я уже сказал. Если вода ее была прозрачна, я купался. Стою так по шею в воде, ноги месят глину, что под водою, и всякие речные твари и мелкие рыбешки снуют себе и шныряют в разные стороны, а голова моя торчит над водою, и ветер шествует предо мной, и весь тварный мир принимает меня в свою компанию. Как так? А вот как: тут и обхватившая меня вода, и земля, на которой я стою, и обвевающий мне лицо ветер, и солнце, припекающее мне голову. И когда я вижу, как усердно печет солнце, я не вытираюсь, выходя из воды, и даю светилу слегка остыть, осушая мое тело. Я думаю: надо же, вот ведь и такое ничтожное создание, как я, способно усладить властителя неба. И чтоб доставить солнцу удовольствие, я снова захожу в воду и опять не вытираюсь. Но в третий раз я этого не делаю, потому что решил: для меня это не прошло бесследно, вся кожа на мне покраснела, да и если взялся угождать сильному мира сего, нечего лишний раз напоминать ему о своем благодеянии.

Вылезу я из реки, распластаюсь на мягкой прибрежной траве и говорю: благ Господь. И оттого, что мне хорошо и слова мои хороши, я повторяю их многократно. Собираются вокруг меня стайки муравьев, что пришли послушать. Но малы они и далеко от них мои уста, оттого я подставляю им руку и поднимаю их вровень с губами и говорю с ними, как с равными. Снова повторяю я: благ Господь. Но муравьи признают свою малость и не осмеливаются заговорить со мною, оттого я киваю им головой и говорю вместо них: «Славно ты сказал, парень». И почему-то мне кажется, что они со мной согласны. Короче говоря, всякий день, когда солнце появлялось на небе и проселки и лесные тропы манили за собой, я покидал отчий дом и отправлялся в лес. Я проводил там целые дни, и за всю мою жизнь не знал я дней прекраснее. Но маму и папу это не радовало. Папу огорчало, что я прервал учение и покинул *бейт-мидраш*, а маму – что я не обедаю, как положено, и даже ложки горячей пищи не попадает мне в рот. И все же они мне не препятствовали.

Когда прошел слух, что Франтишек бежал из тюрьмы, стали папа и мама беспокоиться, а вдруг там этот убийца прячется, и просили меня не разгуливать по лесу. Не хорошо встретиться в лесу с разбойником, для которого кровь пролить – что

позабавиться, тем более теперь, когда убили его товарищей, и он поклялся за них отомстить.

Солнце висит на небосводе, плоды – на деревьях, и весь мир полон радости, а в сердце человека грусть, будто удавка висит на шее. Страх сковал наш город, и Франтишек для всех его жителей, будто меч занесенный. И евреи, и иноверцы, и женщины, и мужчины, старцы и отроки дрожат и трясутся при мысли о Франтишке, который уже погубил несколько душ, зарубил мать на глазах у детей и жениха на глазах у невесты.

Лишь стемнеет, затворяют ставни, запирают двери и навешивают замок к замку; ложатся в постель, обуянные страхом – а вдруг придет Франтишек, и не спасут от него ни затворы, ни засовы. Судите сами, в ту ночь, что Франтишек сбежал из тюрьмы, он через печную трубу пробрался в дом к судье, что приговорил его к смертной казни; вошел, встал перед ним, похлопал его по плечу, словно приятеля, и сказал: «Вы, господин, себя не жалеете, шли бы вы лучше спать». Но проходили дни, и ничего не случилось. Некоторые из жителей города стали уже поговаривать о Франтишке с приятнью, мол, сердце у него широкое, и вообще нечего держать его за простого ворюгу, мол, смел он, даже властей предержавших не боится. А как еще больше времени прошло, и раны от его злодейства вроде зарубцевались, некоторые даже осмелились его защищать, мол, тот убитый жених служил в полиции и преследовал Франтишека, собираясь его убить, так что Франтишек просто упредил противника. А если он убил чьего-то мужа, так это из привычки к преступлению, ведь такие запросто убивают, чтобы с бабой побаловаться. Осьмушку от капли милосердия определил Пресвятой, да благословится Он, каждому сердцу, чтобы жалели безжалостных. А возможно, и не жалость тут вовсе, но порой человеческое сердце огорчается, оттого что много в мире вещей, ведущих к злодеянию, и если находится человек, осудивший сам себя, другие встают на его защиту. Так ли, этак ли, но страх перед Франтишкой не убавился, и можно понять огорчение моих родителей, ведь их сын бродит по лесу один, когда Франтишек разгуливает на свободе.

Но я не изменил своей привычке. Как делал прежде, так делал и теперь. Всякое утро, едва проснусь, направлялся в ближний лес и возвращался только к ночи, когда впору ложиться спать. Лес этот был посажен Всевышним еще прежде, чем построили наш город, порабощающий тело и истязующий сердце. Один я был в лесу и никого больше там не встречал. Только торговцев лесом да дровосеков, приходивших в лес по делу. Жители моего города боялись Франтишека и из города не выходили. Да они и раньше-то не очень в лес хаживали, оттого что заняты были заботами о пропитании и не знали, что есть мир помимо рынков и торговых лавок. Вот и получалось, что я по целым дням находился в лесу один.

Однажды вошел я, как обычно, в лес и понял по траве, что тут уже побывал кто-то. Сказал себе: «Неужто Франтишек?» Стоял я и раздумывал, что же скажу Франтишке, если встречу? Пока я так стою и размышляю, показался некий иноверец, старик весьма преклонного возраста. Поклонился мне в пояс и многословно меня поприветствовал, как старые люди, у которых свободного времени немеряно. Я тоже с ним поздоровался и вступил в беседу. Выяснилось, что он из потомков крепостных, тех, что были собственностью своих господ, пока королева не сделала их свободными, а ныне, когда он совсем состарился и отошел от дел, гуляет себе по лесу, время коротает. Я подумал: такой древний старик, уж верно немало приключений выпало на его долю, сделаю ему одолжение и поболтаю с ним.

Я спросил его, будет ли сегодня дождь. Он снова поклонился мне в пояс и сказал: «Если позволите, ваша светлость, я полагаю, дождя нынче не будет».

Я понадеялся, что он прав, и вступил с ним в беседу.

Увидел он, что не надоел мне, начал рассказывать о былых деньках, когда император был еще юношей, мир был молод, а люди – веселы и беззаботны. Только не подумай, что стоящий над тобой печется о твоём пропитании, а ты ешь да пьешь, радуешься да в ус не дуешь, нет, человек должен был работать. – А разве теперь люди не работают? – Работают, ваша светлость, работают, так что косточки трещат, а мяса на костях все равно не прибавляется, потому что мало кто ест досыта. А уж коли человек не доедает, то и мир не радуется. Нет, ваша светлость, мир не радуется. А когда в мире нет радости, то и люди портятся, так-то господин хороший.

Увидел я, что он грустит о былом, и решил перевести разговор на другое. Сказал ему: «И не страшно вам одному бродить по лесу?» Он ответил: «А кого мне бояться, ваша светлость? Львов и тигров тут не водится, медведей и всяких хищников тоже нет, так кого ж нам тут бояться?» Я ответил: «Ну, всяких разбойников и грабителей, вроде Франтишека и его товарищей». Почесал старик в затылке и сказал: «С тех пор, как Авель убил Каина, брата своего, не прекращают люди убивать, однако ж мы с вами живы».

Видит он, что слова его мне в охотку, и стал рассказывать историю про Каина и Авеля. Начал с сотворения мира, как Пресвятой, благословен Он, создал этот мир и поместил Адама и Еву в Райские кущи и дал людям всего вдоволь. Явился змей, Ева поддалась соблазну и навлекла смерть на род людской. А закончил рассказ двумя сыновьями Адама и Евы, которые были в мире одни одинешеньки. А земля-то тогда была широка и просторна, куда как просторнее, чем теперь, в шестьдесят на шестьдесят раз больше была земля. И козы, свиньи и коровы каждый день новые вырастали из земли, как ныне грибы и ягоды. И всякая корова с первого же дня давала в тысячу раз больше молока, чем ныне. И человек берет себе столько мяса и свинины, сколько душе угодно. И стада заводит такие, какие захочет, хочет сто голов, берет сто голов, хочет тысячу – берет тысячу. И никаких тебе налогов, ни на землю, ни на поголовье, ни в казну, ни для церкви. И несмотря на все это, не смогли два брата ужиться друг с другом. Пока не восстал Авель и не убил Каина. А ведь мог и Каин убить Авеля, да только тот, кому положено умереть, умирает, а тот, кому не пришел черед умирать, остается жив. И хоть сабля опустилась ему на шею, он эту саблю скрутит и шарфом повяжет, чтобы горло не застудить.

Через несколько дней я снова повстречал того старика. В руках он нес крытый горшок, и пахло от горшка горячим вареным мясом. Поклонился мне старик в пояс и поздоровался. Всего три-четыре дня тому назад мы с ним беседовали, и теперь я не нашелся, что сказать, а потому спросил, будет ли сегодня дождь.

Поглядел он на небо и сказал: «Если позволите, ваша светлость, всякое возможно, но я так думаю, что сегодня дождя не будет. Нет, не будет сегодня дождя». Поклонился в другой раз, коснулся шапкой земли и пошел по своей надобности. Я решил положиться на слова старика, разделся и вошел в реку.

В тот день он оказался неправ. Не успел я сунуть голову под воду, как вода плеснула на меня сверху. Не успел я вылезти из реки, поднялись воды реки и накрыли меня по шею, потому что в тот час разверзлись хляби небесные и пролились ливнем великим, и река переполнилась. С большим трудом удалось мне выкарабкаться на сушу. Но суша-то перестала быть сушею, а стала не то рекой, не то озером, да вдобавок деревья поливают тебя сверху, а трава брызжет водой снизу.

Платье мое потонуло в мокрой грязи, будто бросили его на землю и долго месили в жидкой глине и вымачивали во всех водах, что нашлись в мире. Натянул я на себя одежду и побежал в город; сверху острые струи дождя колют меня, снизу огромные лужи норовят заглотать живьем, платье теснит меня, будто вал морской, а башмаки пьют воду и льют воду, и весь я будто вода переходящая. Ветры, громы и молнии сотрясают страхом небесный свод, а верхним и нижним водам и горя мало – знай себе спариваются, плодятся да размножаются.

Добрался я домой, скинул шапку, сбросил башмаки, снял платье и развесил сушиться на веревке, протянутой в кухне, а сам забрался поскорее в постель, потому что зубы мои стучали от холода и все тело бил озноб. Ночь и день я провел в постели, ожидая, пока просохнет моя одежда, но одежда не просыхала. Мокрыми пузырями висела она на веревке, истекала влагой и холодной тоской, которая пробирала мне сердце и окутывала тело вялой ленью.

Дожди зарядили надолго. Лило с утра до вечера. Тяжелые тучи обложили небо, и солнце лица не казывало. А если и показывалось ненадолго, висело посреди туч, словно губка, до предела напитавшаяся водой. Короче говоря, небо переполнено водою, земля расплзлась и заболотилась, и весь мир пребывает в таком виде, что на него и смотреть не хочется.

По прошествии двух дней одежда моя подсохла. Я слез с кровати, очистил платье от глины и грязи. Мухи, исчезнувшие с дождями, теперь пробудились снова. Сонные, ленивые, ползали они по веревке и по стенкам печи и по всякой домашней утвари, а с пола поднимался тяжелый пар. Если я сидел дома, меня тянуло в клуб, а сидел в клубе, хотелось поскорее домой. Так ли, этак ли, но из города я не уходил.

Папа и мама могли быть мною довольны, но я радости не испытывал. Раз, другой отправлялся в лес, но вынужден был с полпути вернуться. Скука и сырость царили вокруг, те же скука и сырость, что пропитали мое платье.

Шли дни, постепенно небо очистилось и земля подсохла. Мухи ожили и принялись летать, как прежде. За окном показались птицы. Мир сделался просторнее, и прихорашивались дороги. Как-то утром я встал пораньше, взял книгу и направился в лес. Недвижный и мрачный стоял лес. Изменился с тех пор, как я его покинул. Куда девались его свет и веселость? Недвижные угрюмые деревья омрачали самый воздух, что затаился меж ветвей.

Я вошел в лес. Земля была влажна и проседала под ногами, и запахом грибов веяло от нее. Всюду, куда ни глянь, повылезали грибы. Под деревьями и кустами, в траве, во мху и на пнях. Земля была влажна и холодна, поэтому я не стал разуваться и садиться на траву, а пошел бродить. Грибы и ягоды всех оттенков глядели на меня, и дождевые черви ползали, извиваясь, по влажной почве. Вылезут и исчезнут, вылезут и скроются под землю. Бог свидетель, ничего плохого я им сделать не хотел.

Пока я так гулял, не заметил, как возник передо мной коренастый плотный человек с косматой головою. Увидел меня и закричал: «Ты что тут делаешь?» Я ответил: «Гуляю в лесу».

Он поглядел на меня злобно и повторил: «Гуляешь в лесу? Так, так, гуляешь в лесу, значит». Я кивнул в знак согласия и добавил: «Я тут гуляю». Склонил он голову набок и спросил: «А не боишься?»

Я спросил: «Кого мне бояться? Львов и тигров тут не водится, медведей и всяких хищников тоже нет, так кого ж нам тут бояться?»

Он опять спросил: «И никого ты тут не встречал?» Я ответил: «Никого я тут не видел, кроме одного древнего старика, которого встретил тут несколько дней назад, до того, как пришли дожди».

Указал он на мою книгу и закричал: «Что это у тебя в руке?»

Я сказал: «Это вы про книгу спрашиваете? Святое Писание это».

Он заорал на меня: «Зачем тебе это?» – Я ответил: «Читать». Посмотрел он на меня внимательно и спросил: «Святое Писание ты читаешь?»

Я ему пояснил: «Я, когда иду в лес, беру с собой Святое Писание». Он топнул в сердцах и сказал: «Пошел вон».

Стоило мне пойти, он меня окликнул: «Хочешь выпить? Водка есть у меня. Сдастся мне, в такой денек капля водки никому не помешает».

Развязал свой кушак и достал оттуда что-то вроде лубяной сводчатой коробочки и сказал мне: «Пей, пей. Отпил я две-три капли и вернул ему коробочку».

Я призадумался: вежливость требует сказать «*Ле-хаим!*», а я не знаю, как по-ихнему сказать «*Ле-хаим!*», и сказал ему «На здоровье».

Он спросил меня: «Что это ты там шепчешь?» – Я ответил: «Я не шепчу». – Он мне снова: «Разве ты не шевелил губами, как старая ведьма?» – Я ответил: «Это я благословение сказал». – Он спросил меня: «И что же ты сказал?» – Я ответил: «*Ше-ха-коль нихья би-дваро*¹⁴. – Сказал мне: «Объясни мне это». И я ему перевел.

Постоял он так молча в размышлении, почесал в затылке и сказал: «Возможно, возможно так и есть. Как-как ты сказал?» – Я повторил перевод: «Что все совершается по слову Его». – Он же спросил: «А как по-вашему это будет?» – И я произнес благословение на иврите.

Он снова задумчиво почесал в затылке и сказал: «Возможно, возможно, что и так. Ну-ка, повтори снова». – И я повторил благословение.

Он сказал: Нет, ты на своем языке скажи. *Чакл, чакл*. – Я повторил на иврите: *Ше-ха-коль* и т.д.

Он вдруг сказал: «Разве ты не говорил, что тут нет никого?» – Я ответил: «Тут нет никого». – Он сказал: «И ты никому не скажешь, что меня видел?» – Я ответил: «Никому не скажу».

Сказал мне: «Поклянись!» – «Зачем мне клясться? Ведь я даже не знаю, кто вы».

Посмотрел он на меня пристально, повернулся и ушел. И я тоже пошел. Иду я и думаю: вот сейчас он обернется, вот сейчас он на меня смотрит. Раскрыл книгу и стал читать, чтобы если посмотрит на меня, увидел, что я за ним не слежу.

Наконец я не утерпел и обернулся, но никого не увидел, словно он сквозь землю провалился. Вероятно, ушел в гущу леса или спрятался в полое дерево. Есть в лесу старые деревья, покалеченные молнией. Стволы их внутри выжгло, и средний человек вполне может удобно там разместиться.

Я шел и думал: до чего странен этот человек. Голова утопает между плеч, шеи не видно, насупленные брови мохнаты, точно мочало, зубы широкие, как квадратные дощечки, а туловище – бурдюк перевязанный. И вид его странен, и речи его странны. Я ему говорю: *ше-ха-коль*, а он мне: *чакл*. И когда говорит что-то, не один раз говорит, а дважды, и еще добавляет: возможно, и так, возможно, и так. А кряхтит-то – ну прямо смех.

¹⁴ По еврейскому религиозному закону прежде, чем что-то пить или есть, требуется сказать соответствующее благословение. Сказанное тут означает: «...что все бывает по слову Его».

Шли дни, и я забыл об этом человеке. А если и вспоминал о нем, или о его *чакл*, или о его побряхтыванье – не смеялся. Чем больше я над всем этим размышлял, тем менее забавным мне это казалось.

В те дни газеты много писали о Франтишеке. Были вещи уже известные, были и неизвестные. Сидел я в клубе, рылся в газетах, желая сравнить одно с другим, и совсем позабыл о том иноверце.

Однажды я снова пошел в лес. По пути, рядом с городским судом, заметил взвод жандармов с поблескивавшими на солнце штыками, а вокруг теснилась толпа. Я спросил у людей: «Что случилось?» И услышал, что поймали Франтишека и теперь его ведут. Я протиснулся в середину и увидел, что ведут человека, закованного в железные кандалы, а он идет себе не спеша, будто прогуливается, и не чувствует своих цепей, будто они ему привычны. Рядом с ним два жандарма, один справа, другой слева, и лица у них напряжены, губы подковой, не то от страха, не то от доблести. От доблести, что, мол, удостоились препровождать убийцу, который целый город в страхе держал. А от страха, потому что не ровен час, снова удерет. И еще один жандарм шел впереди, с саблей наголо.

Я продвинулся поближе и увидел, что ведут того самого иноверца, с которым я выпивал из коробочки. Поглядел он на меня и признал. Ясно было, что он на меня не в обиде. Хотя я и не поклялся, он не заподозрил меня в доносителстве. Тем временем меня оттеснили назад, он же прошел вперед, и больше я его не видел. Лишь два его глаза остались неподвижно висеть в воздухе сами по себе. Те два глаза, которые сошлись вместе в один огромный глаз. И если присутствие этого глаза требует объяснения, то объяснить это следует так: пусть я уйду из этого мира, и весь этот мир ничего для меня не стоит, есть у меня малое утешение, что не с теми ты, кто пришел по мою душу.

В тот день город вздохнул с облегчением. Убийца пойман, и бояться смерти больше нечего. Как-то позабыли люди, что много других смертей есть на свете, помимо смерти от руки Франтишека.

Весь город обсуждал судьбу Франтишека, одни говорили одно, другие – другое. Если бы Всевышний не обязал людей молиться да заботиться о хлебе насущном, стояли бы да судачили целый день. Люди, которых бывало и голоса не услышишь и которые кроме, как семью обеспечить, ни о чем не думают, теперь шумели и кричали и громко требовали растерзать этого Франтишека на мелкие кусочки и скормить его мясо свиньям. Другие с ними спорили, мол, это для такого убийца слишком легкая смерть, и предлагали свое. Люди милосердые, которые поначалу склонялись к мягкости, ожесточили свои сердца в высшей степени. Но поскольку воображение человека сильно уступает его жестокости, по неволе согласились с приговором судей.

Суд над Франтишеком завершился, и несколько дней спустя его казнили. Прежде чем накинуть ему веревку на шею, позвали священника для исповеди. Он на священника даже не взглянул и исповедоваться не стал. Когда ж тот слишком стал настаивать, посвистел, словно птица, как если бы хотел научить свою душу перед вылетом из тела языку пернатых.

Отступил священник. Подошел палач и надел петлю на шею Франтишека. Шея у него была короткая. Если б не ловкость того палача, не приняла бы шея веревки. Потянул палач веревку туда, потянул сюда, и душа Франтишека рассталась с телом.

Когда отлетала душа, будто звуки какие-то сорвались с уст Франтишека. Приклонил палач ухо и услышал, что он сказал: *чакл*.

Много судили о том слове, и все оставалось оно загадкой. И я тоже составил о нем свое суждение и растолковал его так: *чакл* этот означает *ше-ха-коль нихъя бидваро*. Значит, тот убийца счел свой приговор справедливым, ведь все бывает по слову Всевышнего, да будет Он благословен. Когда Франтишек в первый раз услышал те слова, усомнился: возможно, возможно. А теперь, в свой смертный час, окончательно признал их истинность.

И чтоб не оплошали

Глава 1

Не следует еврею вносить изменения в молитву, доставшуюся от предков, ведь молитва детей Израиля возносится к небесным Вратам, и этих врат двенадцать, по числу двенадцати колен Израиля, и называются они Вратами Молитвы. Всякий учит слова и строй молитвы у отца, а тот – у своего отца, и так вплоть до родоначальника колена, до одного из сыновей праотца нашего Иакова, пусть покоится с миром. Ведь когда сыновья Иакова встали на молитву, Пресвятой, благословен Он, учредил на небесном своде двенадцать ворот, и каждые ворота сообразны с численностью определенного им колена. Вот и выходит, что если кто-то изменит молитву и станет молиться не так, как его прародитель, родоначальник племени, смутит тем самым свои ворота, и на пути молитвы, у ее входа на Небеса, возникнет неразбериха. И уже были наказаны недавние поколения, ибо поменяли слова молитв и вызвали путаницу в мирах вышних и дольних, отчего многие раздоры и несогласия разобщили народ Израиля, и силы еврейские истощились и внизу, и наверху. И по ныне мир еще не вернулся в исправное состояние.

Глава 2

Моя молитва – отлична от той, что была принята у моих предков. Скажу больше: я не раз и не два менял слова молитвы, либо их порядок. Вы спросите, как же так? Как я осмелился изменить традиции предков? Тому причиной бессчетные передряги и переезды, что стали моим уделом с юности и до сих пор.

Хотите знать, как дело было? В детстве я молился вместе с папой, благословенна его память, в хасидском *клойзе*, где молятся по обычаю евреев Испании.

Когда я немного подрос, начал ходить на учебу в наш старый дом учения, *бейт а-мидраш*, где молитва следует традиции немецких евреев. Дальние предки нынешних прихожан переняли ее у первых изгнанников из Германии, и теперь в нашем доме учения тщательно следили, чтобы ничего не добавлять к традиции, и ничего не убавлять, и не менять в молитве ни единого слова. Вот я и подумал: возможно ли, чтобы я, самый младший из прихожан, молился иначе, чем в этом месте принято? Я присоединил свой голос к их молитве и стал молиться согласно их обычаю.

Став старше, я удостоился взойти в Страну Израиля и поселился в Яффе, поскольку Яффа была главным местом для всякого, кто искал работу. А среди евреев Яффы в ту пору были и фарисеи, и хасиды, и хотя первые молятся как евреи Германии, а вторые – как евреи Испании, молитва первых не совпадала с той немецкой традицией, что была принята в нашем старом доме учения, а молитва вторых отличалась от той, что в хасидском *клойзе* нашего города. В нашем *клойзе*

молятся по обычаю хасидов Польши, Волыни и Украины, установленному праведными учениками светлой памяти Бешта, а яффские хасиды молились по обычаю рабби Шнеура Залмана из Ляд, благословенна его память. В нашем старом *бейт-мидраше* молились, как некогда молились немецкие евреи, впервые изгнанные из Германии, а в Яффе фарисеи молятся согласно порядку, учрежденному Виленским Гаоном, будь благословенна его память. Порой я молился вместе с фарисеями, оттого что рано начинают молитву, а порой – вместе с хасидами, которые встают на молитву поздно, и чтобы не отделяться от общества, я во всяком месте молился согласно принятому там порядку и обычаю. Вследствие этого я привык молиться по-разному. Хоть и знаю, что негоже отклоняться от молитвенной традиции своих праотцев, но против сего запрета тоже можно выставить немало доводов, и коль скоро совместно молиться предпочтительнее, я позволил себе следовать чужой молитве.

И еще две общины имелись в Яффе, одна – потомки выходцев из Испании, а другая – йеменские евреи, и обе, в свою очередь, тоже разделились на несколько синагог, и в каждой молились по собственному молитвенному чину. И пусть всех их огульно называют *сефардами*, то есть будто бы вышедшими из Испании, но у каждого свой порядок и текст молитв, у выходцев из Йемена не такой, как у хасидов Хабада, а у тех и у этих – не такой, как у хасидов в нашем *клойзе*. Я жил близко от всех и, не желая прослыть дурным соседом, ходил молиться то в одну синагогу, то в другую, а едва входил, как мне протягивали свой молитвенник. Из почтения к месту, оказавшему мне гостеприимство, я молился по распорядку этого места.

Полных шесть лет провел я в Стране Израиля и согласно закону о рабе-еврее был приговорен ее покинуть. Я уехал в Германию и переезжал там с места на место, порой в одной «земле» жил, порой в другой. Но и у евреев Германии тоже разные традиции молитвы, у одних – *ашкеназская*, по еврейскому названию немецкой страны Ашкеназ, у других – польская, и границу между ними проложила река Эльба. Не желая прослыть чудаком, я в каждом месте молился так, как там принято, тут по обычаю Ашкеназа, а тут по обычаю Польши. А порой я оказывался в хасидском *миньяне* и молился вместе с хасидами, они же молятся нараспев, оттого полюбилась мне их молитва, и я приобщился к ним.

Прошли годы, вышел срок моего изгнания, и я удостоился вернуться в Страну Израиля, да еще и поселиться в Иерусалиме. Я полагал, что уж тут-то стану молиться раз и навсегда заведенным образом, но из любви к святым местам, стал посещать разные синагоги и дома учения. Четыреста восемьдесят синагог и домов учения есть в Иерусалиме, и в каждом месте молятся чуть иначе, и куда бы я ни пришел, молился по заведенному там обычаю, чтобы моя молитва слилась с молитвой всех собравшихся. Я и ныне перехожу от одного молитвенника к другому, и лишь в благословении после трапезы – *биркат а-мазон* – строго следую тому, чему обучил меня папа, будь благословенна его память. И как он имел обыкновение просить Создателя: «смилуйся, чтобы мы не посрамили себя, не покрыли себя стыдом, и не оплошали», – так же прошу и я. Несмотря на то, что в большинстве молитвенников просьба «и не оплошали» не упоминается.

Глава 3

Как-то раз гостила у нас одна милая девушка из хорошей семьи. Среди ее предков были ученые мужи и раввины, известные в Ашкеназе и прочих странах нашего изгнания. Услышала она, как я благословляю за трапезу и прошу, чтобы мы

«не оплошали», и спросила, откуда такой обычай. Я ответил, что так было принято в моем отчем доме.

Она возразила мне: «Как вы можете говорить "так было принято", если этих слов не найти ни в одном молитвеннике?» Я ответил, что уж где-нибудь, наверно, имеются.

Достала она молитвенник *Сфат эмет* и показала мне, что подобной просьбы в нем не упомянуто.

Я решил пошутить и сказал: «Хорошо ж вам живется в Германии, раз у вас не возникло нужды в этой просьбе. Видно, все вы, от мала до велика, мудры и находчивы, и вам не грозит оплошать. Оттого и не вставили в ваши молитвенники эту просьбу. Но мы, польские евреи, чего греха таить, ох как нуждаемся в такой мольбе. Лишь бы удостоиться, чтобы Всевышний ее услышал. Оттого и включили ее в наши молитвенники».

Взял я другой молитвенник, чтобы показать ей, что был прав, но не нашел там этой просьбы. А поскольку я привык молиться по многим традициям, у меня собралось изрядно разных молитвенников. Стал я проверять их один за другим, но ни в одном не нашел упоминания слов «и чтоб не оплошали» в благословении после трапезы.

Моя юная гостья сказала мне: «Ну, разве я не говорила вам, что нет этих слов в молитве?» – и так на меня глянула, будто уличила в том, что я дал ей фальшивую монету.

Прошло несколько дней, и она отправилась осматривать Изреэльскую долину и Галилею, а на Пурим – посмотреть на карнавальное шествие в Тель-Авиве. Оттуда вернулась в Германию, чтобы продолжать учебу. И из дому прислала нам письмо, где благодарила нас, меня и жену, за гостеприимство. А еще через какое-то время прислала нам книгу, которую написала на соискание докторской степени о восходящих к суевериям обычаях разных народов, в том числе и евреев.

Я никак не мог согласиться с этой книгой. Хотел написать ей, что от одного мудреца по имени рабби Шмуэль знаю еще о нескольких суевериях, о тех, что не помянуты в Шульхан Арухе, но подумал: если я стану писать отзыв на каждую книгу, что мне присылают, мне и жизни не хватит. Но даже если я не хочу писать ей о книге, все же вежливость требует поздравить ее с присвоением докторской степени. Однако жена моя вечно занята по хозяйству, я же не мастак писать письма. Отложил я это дело, сказав: напишу завтра, а потом: напишу послезавтра, и наконец: придет время – напишу. Так ли, этак ли, но я ничего ей не написал.

Глава 4

Шло время, подошел день годовщины папиной смерти. Я пошел в центр города помолиться. По дороге подумал: вот уж сколько лет я молюсь то так, то этак, и теперь, когда меня вызовут к святому ковчегу, я все слова перепутаю. Было б лучше запастись молитвенником.

Я зашел в книжную лавку, и мне на глаза попала маленькая книжица с благословением после трапезы, такая же, как та, что висела над столом в моем отчем доме. Раскрыл я ее и увидел там в просьбе «смилуйся» слова «и чтобы не оплошали». Взял я эту книжицу и пошел дальше, и отрадно было моей душе. По окончании молитвы я вернулся домой и поужинал. Поев и попив, я взял купленный мною сегодня чин благословения и стал читать по нему – из уважения к новинке и из почтения к словам «и чтобы не оплошали», которые нашел в нем.

Дошел я до просьбы «смилуйся», встали передо мной буквы и сказали: «Видишь теперь, что слова твоего отца имеют основание».

И пришла мне в голову мысль отослать эту книжицу той девушке, чтобы показать, что я ничего не выдумал, и чтобы загладить мое молчание по поводу ее ученого труда и ее письма. Как подумал, так и сделал: взял конверт, и надписал на нем ее имя и имя ее матушки, и звание доктор приписал, и название города, и улицы, где она жила. Обмакнул перо в красные чернила и подчеркнул под словами «и чтобы не оплошали»: хотелось мне, чтобы читая, обратила на них внимание.

Прошло время, и пришло от нее письмо с благодарностью за подарок. И еще она писала, что собирается взойти в Страну Израиля, не одна, а с молодым человеком, и что свадебный обряд они хотят совершить в Иерусалиме. Вскоре они приехали, и я был зван на свадьбу.

Глава 5

Чья краса сравнится с красою невесты, стоящей под свадебным балдахином и какое веселье – с ликованием жениха, берущего себе жену? Однако они, как большинство нынешних евреев, не способны вкусить наслаждение заповедью, и потому не пожелали многолюдной свадьбы, а просто пришли в дом к местному раввину, который сочетал их браком. Завершился обряд, и они ушли. Но десять человек, и я среди них, были приглашены последовать за ними, отведать угощения. Когда мы поели и попили, почтили меня и попросили прочесть семь благословений, какие читают молодым.

Налили мне два бокала. Взял я один в руку и сказал громко и нараспев: «Отведи печаль и также гнев...» и пожелал им, чтобы радость не иссякала в их доме, и прочел благословение после трапезы, а когда дошел до просьбы «смилуйся», сказал, как привык, «и чтобы не оплошали».

Я почувствовал, что невеста посмотрела на меня сердечно и приветливо, и хоть глаза мои были закрыты, как у тех, кто читает благословение всей душой, я знал, что она на меня смотрит. Но я только крепче зажмурился, чтобы не сбиться и не отвлечься от мысли о Том, к Кому обращены слова благословения.

Закончив благословение после трапезы, я поставил первый бокал и поднял второй и благословил: «...Который все сотворил во славу Себе», и «...создающий человека», и «...веселящий Сион жителями его», и «...веселящий жениха с невестой». И снова взял первый бокал, и благословил Создающего виноградный плод, и отпил из обоих бокалов, я протянул их жениху и невесте и всем присутствующим, и, сказав завершающие слова, попрощался и ушел.

Глава 6

Невеста вышла меня проводить. Я сказал ей: «Вернитесь в дом. Невеста – что принцесса, не ей провожать гостей».

Она сказала: «Рабби опасается, как бы на обратном пути не напала на меня какая-нибудь нечисть?». Я отвечал: «Не приведи Бог! Ничего подобного не случится. И все же, следует быть осторожной».

Она сказала: «Я не боюсь. У меня есть замечательная охрана».

Я спросил: «Что за охрана?»

Она достала маленькую книжечку, изукрашенную драгоценными камнями и жемчугом.

Глянул я и увидел, что это то самое благословение после трапезы, которое я ей послал.

Я сказал: «Книжечка копеечная, а переплет – на вес золота».

Она сказала: «Для этой книжечки и такого переплета мало будет».

Я ответил: «Всякая наша книга достойна быть украшенной жемчугами и драгоценными камнями, тем более наши молитвенники, с которыми мы приходим к Всевышнему».

Она сказала: «А эта – превыше многих».

Спросил я: «Чем же она примечательна?»

Она смущенно потупилась и сказала: «Через эту книжку мне явлено чудо».

И что за чудо? Некий иноверец ухаживал за ней и хотел жениться. И она назначила ему срок. Вышел срок, и он явился за ответом. Взял ее руки в свои и так сидел с нею. Раздался стук в дверь, принесли что-то. Она отняла руки и встала принять посылку. Открыла ее и принялась разглядывать. Встали перед нею слова «и чтобы не оплошали» и затмили все прочее. Прижала она эту посылку к сердцу и задумалась. А подумав, решилась и отказала иноверцу, и возвратилась в дом к отцу и матери. Там встретила еврейского юношу, с которым дружила в детстве. Вернулась к ним прежняя привязанность и проснулась любовь. Вместе они взошли в Страну Израиля и тут поженились по закону Моше и народа Израиля. Сказала мне невеста: «Каждый день мы Вас благословляем, ведь благодаря Вашему подарку я сохранила верность еврейству и удостоилась поселиться на земле Израиля».

Я ей ответил: «Что касается благословения, так благодарите Господа нашего, ибо все благие слова причитаются лишь Ему. Из любви к народу нашему и из радости, которую мы Ему доставляем, Он избрал нас среди всех народов и освятил нас святым свадебным обрядом. Велики слова наших мудрецов, сказавших: *еврею следует всегда тщательно соблюдать обычаи предков*. Если из-за двух слов благословения еврейская душа осталась в своем народе и сохранила верность еврейству, то сколько еврейских душ спаслось бы от уничтожения и гибели, если б евреи тщательно соблюдали обычаи своих предков».

Об одном камне

Хороши были те деньки, когда я сидел безвылазно в доме и писал о событиях, приключившихся с рабби Адамом Бааль-Шемом. Рабби Адам Бааль-Шем был мудр и глубок, и сведущ в Божьей каббале, в ее мистическом учении и в мистической практике. Он умел распознавать чертей и всякую нечисть, и знал, когда они собираются проказить и безобразничать, и набрасывал им на глаза платок, чтобы не могли навредить. И еще он разбирался в деревьях – растут ли они по милости Пресвятого, да будет Он благословен, или выросли на останках колдунов, чтобы сбивать людей с пути истины, и таковые он резал на кусочки и тем извлекал евреев из *клипот* и возвращал их к их изначальному корню. И все это рабби Адам делал силою слов, оттого что были у него, у рабби Адама, священные рукописи тайного учения. А когда подошел срок рабби Адаму покинуть сей мир, он спрятал эти рукописи в камне и заклил тот камень, чтобы сам по себе не открывался, и не завладел этими рукописями человек непорядочный, и не обратил наш мир в первозданный хаос.

Словно в дивных видениях я видел этот камень и сокровенные в нем рукописи, каждую букву и каждое слово и каждую строку и каждую страницу и каждый лист. Если бы те рукописи были от корня моей души, я бы читал их и составлял из их слов целые миры. Однако я не удостоился их читать, но сидел и глядел на них, и глаза мои

обнимали их, как металл обнимает драгоценные камни оправой, и остаются камни камнями, а металл – металлом. Но хоть и не удостоился я их прочесть, удостоился написать о них. И если мы приходим в этот мир, чтобы навести порядок в том, что оставили по себе прежние поколения, могу сказать, что в некотором смысле мне и впрямь удалось кое-что упорядочить.

Тем не менее, когда я начал писать историю о камне, напал на меня страх, как бы не помешали мне посреди моего занятия. Хоть я сидел в полном одиночестве, отрешившись от мира, меня мучило опасение, что едва я приступлю к делу и начну излагать суть вещей, придут люди и отвлекут меня от работы, ибо так уж люди устроены, что когда их просят прийти, они не приходят, а когда их не просят, обязательно явятся. Я взял с собой писчие принадлежности – чернила, перо и бумагу, и отправился в лес нашего города, и вступил под сень деревьев, и нашел там один камень, и устроил там себе место, и положил свои принадлежности на камень, и сел, и стал писать. А когда отрывался от письма и видел вокруг себя деревья, и птиц, и травы, и пробирающийся посреди них речной поток, чувствовал в сердце великую радость. Слышал я, как птицы ведут беседу перед Отцом своим Небесным, и всякий росток полевой изливает душу перед Создателем, и все деревья леса склоняются пред Ним, да будет Он благословен, и благодушно движутся речные воды и не слишком себя возносят. Так я провел несколько дней, пока не написал историю о рукописях, которые были у рабби Адама Бааль-Шема, а в них – Божья каббала, ее мистическое учение и мистическая практика. И когда настал день его кончины, испугался он, как бы не попали рукописи в руки недостойных людей, собрался и пошел к некоему камню, и разверз его, и спрятал в нем свои рукописи, и затворил тот камень, и неизвестно, где он находится.

Многое я написал, и многое еще оставалось мне написать, но едва я собрался дописать конец той истории, подошел какой-то человек и спросил, как пройти к городу. Увидел я, что он стар и ходит с трудом, а дорога не гладка, камни сделали ее ухабистой, и солнце вот-вот зайдет, и засомневался я, что он дойдет до города засветло. Оставил я свои рукописи и пошел его проводить, помогая ему и поддерживая, почти до самого города.

Расставшись со стариком, я остановился в недоумении. Вот-вот наступит святая суббота, а я стою за пределами отведенного для субботы пространства¹⁵. К тому же бросил на середине то, над чем трудился целую неделю и что уже почти завершил, оставил без призора на волю ветра, диких зверей и пернатых хищников. И даже если ради исполнения заповеди «Старца почитай»¹⁶ я был обязан его проводить, я ведь мог взять мои рукописи с собой и пойти вместе со стариком в город, и тем безупречно исполнил бы заповедь и сберег свои рукописи, и не пришлось бы мне перед наступлением субботы возвращаться в лес в потемках. Несмотря ни на что, не было у меня в сердце сожаления о содеянном, я просто недоумевал, как, бывает, удивляется человек самому себе, но ни раскаяния, ни огорчения не испытывает.

Тем временем зашло солнышко, посеребрился день, и постепенно засиял свет святой субботы. Я стоял и не знал, куда мне прежде направиться. Если пойду в город, оставлю без призора труд шести дней. Если пойду в лес, вступит в свои права святая

¹⁵ По еврейскому закону, в субботу дозволено удаляться от населенного пункта лишь в пределах определенного расстояния, и ограниченное этим пределом пространство называется *тхум шабат*.

¹⁶ «Перед сединой вставай, старца почитай. Бойся Бога своего, Я Господь» (*Ваикра*, 19:32).

суббота, я же не вступлю в ее владения. Пока я решал и раздумывал, ноги сами понесли меня в лес.

Вернувшись в лес, я нашел свои записки лежащими на камне так, как я их там оставил. Не разметал их ветер, не растащили зверь и птица. Если бы не тот старик, что прервал меня, и если бы не начало субботы, я бы перечел написанное, и вышло бы из-под моего пера нечто справное. Как жаль, что я не уследил за временем и не довел свое дело до конца.

Пока я размышлял, раскрылся камень и поглотил мои рукописи и затворился снова. Оставил я камень лежать, где лежал, и направился в город.

В тот час Пресвятой, будь Он благословен, вывел на небесный свод месяц, звезды и созвездия, и засветилась вся земля, и всякий камень, что лежал на дороге у меня под ногами светился и сиял, и всякая трещинка, и всякая складка, и всякая жилка, что на тех камнях, явственно предо мной предстала. Объял я камни взглядом, как тот прах земной, что держит камни и обнимает их, так что каждый камень прочно лежит на своем месте, и люб мне был всякий камень. Смотрел я на них и думал: «Разве важно, тот ли это камень, что поглотил мои рукописи, или другой?» И камни тоже на меня поглядывали, или это мне казалось, что они поглядывают, а возможно, и сказывали те самые слова, что говорил я сам себе, только не на том языке, что я, а на своем.

Я и мое сердце

Я хотел сложить песнь для Шуламит¹⁷, прекраснейшей из женщин, ибо я люблю Шуламит сильнее всех девиц на свете. И теперь, когда близок день рождения Шуламит, сочиню-ка я песнь для Шуламит, и украшу ее рифмами, ибо так слагают свои стихи поэты.

И пошел я к рифмам, и сказал им: «Послушайте меня, рифмы, я слагаю песнь для Шуламит, прекраснейшей из женщин. Вот, я пришел к вам – одолжите мне две-три рифмы для песни, которую я слагаю для Шуламит ко дню ее рождения». И ответили мне рифмы, и сказали: «Хорошее дело ты затеваешь, только пойдя, принеси нам слова, и мы дадим тебе рифм сколько душе угодно, и исполнится твое желанье».

И пошел я к словам, и сказал им: «Задумал я сложить песнь для Шуламит и пошел к рифмам, чтобы одолжили мне две-три рифмы. И сказали мне рифмы: пойдя, принеси нам слова, и мы дадим тебе рифмы. И вот я пришел к вам, дорогие слова. Одолжите мне слов, чтоб сложить из них песнь, как я того желаю, ко дню рождения Шуламит».

И услышали слова, и сказали: «Добрый совет дали тебе рифмы, ибо без слов ничего не бывает, ибо мы, слова, – начало всякой вещи, а не станем слов, и ничего не станем. Только ступай, пойдя прежде к голове. Может, даст тебе какой-нибудь замысел, и тогда мы дадим тебе слов. И пойдешь со словами к рифмам, и они дадут тебе рифм. И сложишь песнь для Шуламит ко дню ее рождения».

¹⁷ Это заключительный рассказ цикла «В шатре нашего дома». Шуламит, героиня Песни Песней, аллегорический образ еврейского народа. День рождения Шуламит – возможно, праздник Шавуот, день дарования Торы на горе Синай.

И пришел я к голове и рассказал ей все, что со мною было. И не захотела голова мне помочь, но сказала: «Не гоже человеку слагать песни. Особенно теперь».¹⁸

Да только я не отступил. И просил ее, и упрашивал, пока не согласилась голова пойти со мной к одному замыслу, чтобы было мне, с чем прийти к словам и к рифмам, чтобы сложить песнь для Шуламит, прекраснейшей из женщин.

И пошли мы вместе к замыслу, и увидели его сидящим среди мудрецов и старцев. И сказал я замыслу: «Близок день рождения Шуламит. Хотел бы я сложить песнь для Шуламит. И пошел я к рифмам и словам, они же послали меня к голове, чтобы попросила тебя за меня, и когда я соберусь слагать песнь, ты пошел со мною к словам и рифмам. Пожалуйста, замысел, встань и пойдь со мною вместе».

И ответил мне замысел: «Неужели ты думаешь, что я покину это место среди мудрецов и старцев и отправлюсь кочевать по словам и рифмам?» И не пожелал замысел пойти со мной к словам и рифмам, чтобы слова дали мне слов, а рифмы – рифм для песни, которую я хочу сложить для Шуламит, прекраснейшей из женщин, возлюбленной моей души.

Я ушел от замысла в великой печали. Ведь я хотел сложить песнь для Шуламит ко дню ее рождения, но не пошел со мною замысел к словам и рифмам, чтобы сложить эту песнь.

И встретилось мне мое сердце, и увидело, что я печален. И сказало мне мое сердце: «Отчего ты так грустен?» И рассказал я сердцу, как ходил к рифмам, а они послали меня к словам, а те послали меня за замыслом, а замысел оставил меня ни с чем. Не захотел он пойти со мною. А я всего лишь хотел сложить песнь для Шуламит, прекраснейшей из женщин, ко дню ее рождения. Как же мне совершить задуманное, с чем я приду к словам и к рифмам, если нет со мною замысла?

И сказало мне сердце: «Я буду с твоими устами, когда станешь слагать песнь для Шуламит, прекраснейшей из женщин, потому что я люблю Шуламит и люблю твои песни».

Еще оно со мной говорит, а уж коснулось уст моих. И запел я песнь о Шуламит, прекраснейшей из женщин, ко дню ее рождения, как никогда не пел дотоле, и были в той песни и замысел, и слова, и рифмы, ибо сердце мое не покидало меня и не отходило от моих уст.

Перевела с иврита Зоя Копельман

¹⁸ Ср. слова Теодора Адорно (1903–1969): «Писать стихи после Освенцима – это варварство».